

The book cover features a dark, atmospheric scene. At the top, the title 'Таюта' is written in a stylized, white, gothic font. Below it, a large silhouette of a man and a woman in profile, facing each other, is set against a background of swirling red and green smoke or mist. The man's silhouette is on the left, and the woman's is on the right. The red smoke flows from the top, between their heads, and down towards the bottom of the cover. At the bottom, a figure in a dark coat stands with their back to the viewer, looking down a street lined with buildings. The buildings have lit windows, and the street is dimly lit. The overall color palette is dominated by dark blues, greens, and reds, creating a mysterious and somewhat ominous mood.

Таюта

Приятно
познакомиться,
Групп

Таюта Таюта

Приятно познакомиться, Труп

<https://litres.ru/73958694>

SelfPub; 2026

Аннотация

Три дня. Трое братьев. Одна тайна, способная уничтожить целый род.

В Зимнем дворце убиты курьеры императора. Убийца — вампир. Подозрение падает на род Волконских, веками служащих короне из тени. Алексей, его кузен Дмитрий и младший брат Игорь должны найти преступника, пока император не объявил охоту на них самих.

Но улики ведут в прошлое их собственной семьи. В заброшенные особняки Москвы, в катакомбы под Петербургом, в тайны, которые приказали забыть много лет назад. А часы уже тикают. И пока братья идут по следу, кто-то невидимый ведёт собственную игру, где они — всего лишь пешки.

Для тех, кто любит: стремительный сюжет, вампирские интриги в декорациях Российской империи, живые диалоги, где сарказм мешается с нежностью, и мрачную эстетику, где свечи гаснут не сами собой. Эта книга — коктейль из детектива, тёмного фэнтези и семейной драмы. Пейте осторожно: он горчит.

Содержание

Глава 1 Бал у смерти	4
Глава 2 Немая симфония	17
Глава 3 Граф и Глина	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Таюта Приятно познакомиться, Труп

Глава 1 Бал у смерти

Начинается всё, как обычно, с дурных вестей.

Гонец прибывает в сумерках — тех особых декабрьских сумерках, когда небо над Петербургом цвета разбавленных чернил, а снег лежит на крышах, как старая пыль на плечах вдовы. Я как раз собирался провести вечер за книгой. У меня их много — книг, не вечеров. А вечеров у меня, строго говоря, бесконечно много, и это давно перестало быть преимуществом.

Поместье матушки стоит в стороне от больших дорог, в лесу, который на картах обозначен как «казённый», а на деле — ничейный. Двухэтажный особняк елизаветинской постройки, с облупившейся лепниной и колоннами, которые помнят ещё Анну Иоанновну. Мы не жалуем гостей. Соседи думают, что здесь живёт старый князь с причудами — то ли сумасшедший, то ли прокажённый. Соседи, в общем-то, недалеко от истины.

Я сидел в библиотеке — моя любимая комната во всём

доме. Высокие, до потолка, стеллажи из красного дерева, потемневшего от времени. Книги на французском, немецком, латыни. Пара фолиантов на греческом, которые я не открывал уже лет сорок. Камин. Кресло с протёртой обивкой. Тишина — та самая, глубокая, которую может дать только старый дом зимой, когда снег глушит все звуки, а прислуга давно распущена по комнатам.

Я перевернул страницу — что-то из Байрона, кажется, «Гяур», я перечитывал его в третий раз за столетие, — когда в дверь постучали. Странное дело — бессмертие. У тебя впереди вечность, а ты перечитываешь одну и ту же книгу, словно надеешься найти в ней то, что пропустил в прошлый раз. Может быть, себя.

Стук был нерешительный. Человеческий. Так стучат слуги, которые боятся потревожить, но обязаны.

— Войдите.

Дверь приоткрылась. На пороге стоял Ефим — наш старший лакей, сутулый мужчина лет шестидесяти, который служил ещё покойному князю Волконскому, моему отцу. Он был из тех редких смертных, кто знал о нас правду, но предпочитал не думать об этом лишней раз. Жалование хорошее, работа непыльная, а что хозяева кровь пьют — так у каждого свои недостатки.

— Ваше сиятельство, — он кашлянул в кулак. — Гонец от Её Сиятельства.

Я отложил книгу.

— От матушки?

— Так точно. Ждёт в передней.

Я поднялся. Байрон подождёт — он мёртв, ему не к спеху.

В передней было холодно. Свечи на консолях давали неровный, дрожащий свет, от которого тени на стенах шевелились, как живые. Наше поместье вообще богато тенями — то ли архитектура такая, то ли мы сами их притягиваем.

Гонец стоял у двери, не решаясь пройти дальше. Молодой парень в тёмном сюртуке без гербов — матушка не любила лишнюю символику. Он мял в руках шапку, и я слышал, как колотится его сердце — быстро, испуганно. От него пахло лошадиным потом, морозом и страхом.

— Князь Алексей Сергеевич? — спросил он, хотя явно знал ответ.

— Допустим.

— Её Сиятельство Елизавета Алексеевна велела передать — он запнулся, сглотнул, — велела прибыть немедленно. В Большой дом. По делу государственной важности.

Большой дом — так мы называли главное поместье рода. Мраморный дворец, как его окрестили в округе, хотя мрамора там было меньше, чем амбиций. Матушка редко вызывала нас туда. Ещё реже — «немедленно» и «по делу государственной важности».

— Что-то ещё?

— Велено передать: «Пусть оба будут. И пусть поторопятся». Оба. Значит, Дмитрия тоже вызывают.

— Ступай на кухню, — сказал я. — Ефим распорядится, чтобы тебя покормили. И скажи конюху — пусть готовит карету.

Гонец поклонился и исчез за дверью с явным облегчением. Я остался в передней, глядя на своё отражение в мутном зеркале над консолью. Из зеркала на меня смотрел человек, которому на вид было лет тридцать — может, чуть больше. Тёмные волосы, зачёсанные назад. Бледное лицо с острыми скулами. Серые глаза — слишком светлые для живого. Я поправил воротник сюртука, одёрнул манжеты. Привычка. Я иногда думаю: а что, если однажды зеркало покажет мне не лицо, а то, что под ним? Не кости — кости у меня такие же. А тишину. Пустоту, которая заполняет тебя, когда ты живёшь слишком долго и уже не помнишь вкуса хлеба.

Значит, Дмитрий... Я поймал себя на мысли, что при упоминании его имени внутри что-то дрогнуло. Не тревога — скорее предвкушение. Мы не виделись несколько недель, и я вдруг понял, что скучал по звону его шпор и этим бесконечным насмешкам. С ним даже дурные вести становятся терпимее.

Дорога до Мраморного дворца занимает часа два — если ехать через лес, не жалея лошадей. Мы не жалели.

Карета была старой, ещё екатерининской постройки: высокие колёса, кожаная обивка, никаких гербов на дверцах. Матушка предпочитала, чтобы мы передвигались незаметно. «Меньше глаз — меньше вопросов» — говорила она, и в

этом была вся наша семейная философия.

За окном проплывал зимний лес. Чёрные стволы сосен, припорошённые снегом. Иногда — просветы, где луна выплёскивала на дорогу холодный, мёртвый свет. Я смотрел на этот пейзаж, не видя его. Думал о матушке.

Елизавета Алексеевна Волконская — глава рода, старейшая из известных нам вампиров империи. Сколько ей лет на самом деле, не знал никто — даже она сама, подозреваю. Она пережила трёх императоров, две войны и один дворцовый переворот. Бессчётное количество собственных мужей она хоронила с завидной регулярностью, каждый раз выдерживая траур ровно настолько, чтобы не вызвать пересудов.

Она обратила каждого из нас. Тринадцать детей — тринадцать вампиров. Мы были её родом, её армией, её тенью. Мы служили короне — негласно, неофициально. Разбирались с делами, которые нельзя доверить обычной полиции. Делами, в которых пахло не только кровью, но и чем-то похуже. И вот теперь — вызов. Немедленно.

Карета качнулась на ухабе. Я придержался за поручень.
— Барин, — донеслось с козел, — подъезжаем.

Мраморный дворец вынырнул из темноты, как белый кит из чёрной воды. Он стоял на холме, окружённый старым парком, и светился окнами — редкими, тусклыми, но достаточными, чтобы понять: нас ждут. Фасад с колоннами, широкая лестница, два флигеля, расходящиеся в стороны, как крылья хищной птицы. Мрамор здесь действительно был — се-

рый, с розоватыми прожилками, ещё прадедом привезённый из Италии. Он потемнел от времени, пошёл трещинами, но держался.

Карета остановилась у парадного подъезда. Кучер слез с козел, открыл дверцу. Я вышел, вдыхая морозный воздух — влажный, с привкусом хвои и далёкого дыма.

Лакеев не было. Матушка, как обычно, не выставила прислугу — «меньше глаз». Я поднялся по ступеням, толкнул тяжёлую дверь.

Внутри пахло воском и ладаном. И ещё чем-то — с особым, сухим оттенком, который бывает только в домах, где живут очень старые существа. Не пылью — временем.

— Алексей Сергеевич.

Я обернулся. Из тени колонны выступил слуга — старый Фёдор, матушкин мажордом. Лицо его напоминало пергамент, натянутый на череп. Но держался он прямо, с той особой выучкой, которую даёт только многолетняя служба у женщины, не прощающей ошибок.

— Её Сиятельство ожидает вас в малой гостиной, — сказал он. — Князь Дмитрий Николаевич уже прибыл.

— Опаздываю?

— Вы пунктуальны, как всегда.

Это не было комплиментом. Фёдор вообще редко говорил комплименты.

Малая гостиная находилась на втором этаже, в восточном крыле. Я шёл по коридору — длинному, тёмному, с рядом

дверей по обе стороны. Стены обиты штофом — тёмно-бордовым, почти чёрным в этом освещении. Портреты. Предки Волконских смотрели на меня с полотен — старые князья в париках, княгини в жемчугах. Все — люди, ни одного вампира. Матушка велела повесить их здесь не из пиетета перед родом, а из практических соображений: если кто-то чужой попадёт в дом, пусть видит то, что ожидает увидеть.

В конце коридора — дверь, обитая малиновым сукном. Я толкнул её.

Малая гостиная была освещена одинокой масляной лампой на каминной полке. Пламя дрожало, и тени в углах комнаты шевелились, как живые. Обстановка — старая, ещё александровских времён: кушетка с вытертой обивкой, два кресла у камина, секретер с откинутой крышкой, за которым матушка обычно писала письма. На стенах — тёмные обои с выцветшим золотым узором. В углу — часы в футляре из красного дерева, которые молчали уже сто лет. Их никто не заводил, но иногда, говорят, они начинали бить сами — в те ночи, когда в роду кто-то умирал.

Матушка сидела в кресле у камина. При моём появлении она не повернула головы — только повела рукой, указывая на кресло напротив.

— Садись, Алексей.

Голос у неё был низкий, с хрипотцой, как у певицы, которая слишком много курила. Но матушка не пела и не курила. Она просто была очень, очень старой.

Я сел. Посмотрел на неё.

Елизавета Алексеевна Волконская выглядела лет на сорок пять — по человеческим меркам. Высокая, прямая, с той особенной осанкой, которую даёт либо многолетняя выправка, либо абсолютная уверенность в своей власти. У неё было узкое лицо с резкими чертами — такие лица любили рисовать на миниатюрах в конце прошлого века. Тёмные с проседью волосы убраны в строгий пучок. Тёмно-синее, почти чёрное закрытое платье без украшений, если не считать одну брошь на воротнике: серебряный паук с крошечным рубином на брюшке.

Она не выглядела опасной. Она выглядела усталой — но это была та усталость, которая опаснее любой ярости. Усталость человека, который видел всё и которого больше ничем не удивить.

— Ты приехал быстро, — сказала она.

— Вы велели не медлить.

— Я ценю послушание. Редкая добродетель.

В комнате стало тихо. Матушка молча смотрела на огонь. Я молчал. Я знал: если она захочет что-то сказать — скажет. Торопить её было бесполезно, а иногда и опасно.

— Дело государственной важности, — произнесла она наконец, не глядя на меня. — Сегодня ночью в Зимнем дворце нашли три тела. Посыльные Его Величества. Убиты. Высушены. Способом, который тебе знаком.

Я чуть наклонил голову:

— Укусы?

— Укусы. Мелкие, множественные. Не наши, — она сделала паузу. — Или наши, но очень старые.

— Старые настолько, что вы чувствуете их возраст, матушка?

Она усмехнулась — сухо, одними уголками губ.

— Ты всегда задаёшь правильные вопросы, Алексей. И именно поэтому ты мне нужен.

Она повернулась ко мне. Её глаза — тёмные, почти чёрные, с тем особенным блеском, который бывает только у очень старых существ, — встретились с моими.

— Император вызвал нас. Тебя и Дмитрия. Он хочет, чтобы мы разобрались. И он дал на это три дня.

— Щедро.

— Не дерзи.

Я склонил голову:

— Простите, матушка.

— Ты никогда не просишь прощения искренне. В этом ты весь, — она на мгновение замолчала. — Император напуган. И у него есть причины. Кто-то убивает его людей в его собственном дворце. Это оскорбление. И вызов.

— Вызов кому?

— Нам, — она посмотрела на меня тяжело. — В империи нет других родов, Алексей. Есть только мы. Если кто-то делает нашу работу, не спросив нашего разрешения, — это вызов роду. Вызов мне.

Я промолчал. В камине трещали дрова, и этот звук заполнял паузу.

— Я не прощаю неудач, — сказала матушка тихо. — Ты знаешь.

— Знаю.

— Три дня. Через три дня ты либо принесёшь мне голову того, кто это сделал, либо — она не закончила.

Мы оба понимали, что значит это «либо».

Я поднялся. Поклонился — сдержанно, ровно настолько, насколько требовал этикет.

— Я вас понял.

— Не сомневаюсь. И вот ещё что, Алексей.

Я замер у двери.

— Дело может быть связано с тем, что было пять лет назад. В Москве. Ты помнишь. Это не вопрос.

— Помню, — сказал я.

— Тогда иди. И будь осторожен, — она снова отвернулась к огню. — Ты мне нужен. Вы оба.

Я вышел. Дверь закрылась за мной с мягким, почти неслышным стуком.

В коридоре было темно, но я не нуждался в свете. Я прошёл несколько шагов, прежде чем заметил движение у колонны. Дмитрий.

Он стоял, прислонившись спиной к мраморной стене, скрестив руки на груди. Фрак ещё не надел — был в своём обычном, чуть небрежном гусарском сюртуке, распахнутом

на груди, и в высоких сапогах со шпорами. Из рта торчала пустая трубка — он не курил, просто держал её в зубах, как старую привычку, от которой не хотел отказываться.

— Слышал, что матушка велела? — спросил я. — Неужто я увижу дорогого брата вне этих расфуфыренных тканей?

В свете редких свечей его лицо казалось восковым — только глаза горели тем самым голодным, весёлым огнём. Шпоры мелодично звякнули, когда он переступил с ноги на ногу, и этот звук — серебряный, лёгкий — словно говорил: «Я здесь, и мне плевать, что вы об этом думаете».

— Ах, mon cher, — он вынул пустую трубку изо рта и жестикнул ею, как дирижёрской палочкой. — Ты хочешь, чтобы я надел фрак? Стоял с тобой рядом — два чёрных ворона на балу у смерти? Скука, Алексей. Императору плевать, во что мы одеты, пока мы не кусаем его гвардейцев.

Он сделал шаг ко мне и чуть наклонил голову.

— Но раз матушка велела — театрально вздохнул. — Ради твоего эстетического страдания я, так и быть, надену чёрное. Только попрошу портного пришить шпоры. Не могу без звона, понимаешь? Это моё «аминь».

Он хлопнул меня по плечу — сильнее, чем следовало бы человеку. Я не вздрогнул. Привык.

— Кстати. Ты заметил, как она сказала «не прощаю неудач»? Не «вас убьют», не «казнит». Именно — не прощаю. Будто мы уже трупы. Ах да, — усмехнулся, — мы и есть трупы.

Дима отошёл на два шага, разглядывая меня с головы до ног. Его лицо — маска веселья, но я знал эту маску. Она всегда появлялась, когда он нервничал.

— Ты хоть ел сегодня? Или опять корчишь из себя страдающего байрониста? Смотреть тошно. В Зимнем нам нужны зубы, братец, а не элегии.

Он протянул руку ладонью вверх — не то чтобы помочь, не то чтобы попросить что-то.

— Ну что, философ, поедем смотреть на трупы и делать вид, что нам не всё равно?

Я демонстративно, по-театральному закатил глаза и пошёл в сторону своей комнаты. В поместье матушки для каждого есть место — своё крыло, своя спальня, свой гроб, если угодно. Хотя я давно сплю в обычной постели — привычка.

— Встретимся через час.

С этими словами мы разошлись. Коридор тонул в тишине. Мои шаги — лёгкие, почти неслышные — уходили вправо, к восточному крылу. Я слышал, как Дима остаётся у колонны, смотрит вслед.

— Через час, — повторил он тихо. — Смотри не зачитайся там, Байрон наш доморощенный.

Он щёлкнул невидимую пылинку с рукава и ушёл в противоположную сторону — с запахом кожи, табака и того особого гусарства, которое уже сто лет как не носят, но которое отказывается умирать.

Я шёл по коридору, и мои мысли были тяжелы, как на-

мокший бархат. Три дня. Три тела. И что-то из Москвы, что матушка велела забыть пять лет назад, но, видимо, не забыла сама.

В конце коридора — окно. Я остановился, глядя в темноту. Там, за стеклом, снег шёл крупными хлопьями — бесшумный, неотвратимый, как время. Петербург спал. Или делал вид, что спит.

Где-то в этом городе некто убивал людей моим способом. Оставлял за собой высушенные тела и улыбки на мёртвых лицах.

Час. У меня был час, чтобы собраться, переодеться и привести мысли в порядок. А потом — в Зимний. К императору. К трупам, с которых начнётся длинная, запутанная история.

Я отошёл от окна и направился в свою комнату.

Глава 2 Немая симфония

Карета ждала у парадного подъезда ровно через час, как было условлено.

Я вышел из восточного крыла, на ходу застёгивая запонки — старая привычка, которую не вытравили даже годы бессмертия. Сюртук я сменил на чёрный фрак, более уместный для ночного визита в императорскую резиденцию. Галстук завязал без помощи слуги — белый, строгий, без щегольства. Волосы пригладил назад, смочив водой из кувшина. В зеркало не смотрелся — во-первых, оно висело слишком высоко: матушка их избегала, а во-вторых, я давно перестал нуждаться в подтверждении собственного существования.

Ночь стояла плотная, безлунная. Ветер нёс позёмку по каменным плитам подъездной аллеи. В воздухе пахло морозом, хвоей и далёким дымом — где-то на окраине Петербурга топили печи, и дым стелился над городом, как серое одеяло. Небо было низким, тяжёлым, будто набрякшим невыпавшим снегом.

У крыльца ждала простая, без гербов, тёмная карета. Кучер сидел на козлах, не оборачиваясь. Молчаливый, в высоком цилиндре, он был из тех старых слуг, которые знают, когда нужно задавать вопросы, а когда — притворяться глухим. Лошади переступали с ноги на ногу, и пар от их дыхания стелился по камням призрачным туманом.

Дмитрий уже был там.

Он стоял, привалившись плечом к дверце кареты. При моём появлении расплылся в той самой улыбке, которую я мысленно называл «гусарской» — нахальной, весёлой и чуть-чуть опасной, как бритва в рукаве. Фрак он всё-таки надел. Чёрный, строгий, облегающий плечи так, словно его не шили на заказ, а выращивали прямо на теле. Кончики небрежно завязанного белого галстука чуть развевались на сквозняке. Мундир исчез, эполеты тоже, но Дима и тут остался верен себе: к сапогам были пристёгнуты крошечные серебряные шпоры, и каждый его шаг — я слышал это ещё с крыльца — звучал тонким «дзынь».

— Не успел впасть в свой незабвенный философский бред? — спросил он вместо приветствия, вынимая изо рта пустую трубку и привычно жестикулируя ей. — Ах да, у тебя же был всего час. Какая досада.

— Трагедия в том, что ты всё-таки надел фрак, — ответил я, спускаясь по ступеням. — Я думал, что не доживу до этого дня.

— Я полон сюрпризов, mon cher. Как и подобает гусару. Матушка велела — я исполнил. Ты же хотел увидеть меня «вне расфуфыренных тканей»? Voilà! — Он повёл плечами, разминая ткань, и шпоры его отозвались мелодичным звоном. — Строг, элегантен, прекрасен. И слегка раздражён отсутствием эполет. Впрочем, шпоры при мне — а это главное.

— Ты забыл слово «скромен».

— Я не забыл. Я его проигнорировал. Скромность, Алексей, — удел живых. Им есть чего стесняться, — он кивнул в сторону кареты и добавил: — Прошу, ваше сиятельство. Только без обмороков по дороге. И помни: если я и буду молчать, то исключительно чтобы ты насладился моим обаятельным профилем в тишине.

Он открыл дверцу сам — лакея матушка не дала, «меньше глаз». Изнутри пахло кожей, ладаном и тем особым холодом, который не берёт даже тёплая грелка.

— Ну? — он чуть склонил голову. — Едем, философ? Или дать тебе ещё пять минут на созерцание луны?

— Луны нет.

— Тем более. Значит, ждать бессмысленно.

Я молча прошёл мимо и сел в карету, задвигая шторку на окне. Дима забрался следом, хлопнул дверцей — гулко, с тем особым звуком, который бывает только у старых, ещё екатерининских карет, где дерево ссохлось, а обивка пропиталась временем. Он устроился напротив, вытянул ноги вперёд, задев шпорами мои сапоги.

— Извини, — сказал он, не извиняясь.

— Ты никогда не извиняешься.

— Я совершенствуюсь. Медленно, но верно.

Карета тронулась. Колёса мягко застучали по булыжной мостовой, и этот стук — мерный, убаюкивающий — заполнил тишину между нами.

Мы ехали через ночной Петербург. Отодвинув шторку на

полпальца, я смотрел, как за окном проплывают тёмные фасады, заснеженные крыши и редкие масляные фонари, свет которых дрожал на ветру. Город казался вымершим — ни экипажей, ни прохожих, только где-то вдалеке лаяла собака, зло и надрывно, словно почуяла нечто, что ей не понравилось.

Дима сидел напротив, развалившись с ленивой грацией хищника, которого не кормили, но который не спешил. Он молчал дольше обычного, и это настораживало. Как правило, он комментировал всё подряд — погоду, дорогу, моё молчание, фасон собственных сапог, — но сейчас он был тих, и тишина эта казалась тяжелее любых слов.

— Дорогой мой Дмитрий Николаевич, — произнёс я, не отворачиваясь от окна, — смотрю, вы по-прежнему веселы и беззаботны. Может, столь радостны вы по той причине, что знаете, кто желает очернить имя матушки и её отроков?

Дима приподнял бровь. В полумраке кареты, при редких проблесках уличных фонарей, его лицо то появлялось, то исчезало — резкое, восковое, с блестящими глазами, в которых отражался огонь невидимых свечей.

— Весел и беззаботен? — он прижал руку к груди театральным жестом. — Ах, mon frèге, ты меня обижаешь. Я — сама скорбь. В весьма изящном исполнении.

Он замолчал на секунду, глядя в зашторенное окно, будто пытаюсь разглядеть что-то сквозь тёмную ткань. Потом перевёл взгляд на меня — уже без усмешки. Что-то в его лице

изменилось, стало жёстче, острее.

— А вот что касается того, кто это устроил — голос его стал тише, почти мурлыкающим. — Я бы соврал, если бы сказал, что знаю. Но я не люблю врать. Только недоговаривать.

Он наклонился вперёд, опираясь локтями на колени. Расстояние между нами сократилось. Снаружи кареты проплывали тени домов, и в их мелькании лицо Димы казалось вырезанным из старой кости — то освещённым, то погружённым во тьму.

— Однако есть у меня одна мысль. И она тебе не понравится.

Я перевёл взгляд на него.

— Ты помнишь, что было пять лет назад? В Москве. Те двое — брат и сестра. Особняк на Тверской.

Я помнил. Картина стояла перед глазами до сих пор: анфилада комнат, выстуженный воздух, запах ладана и смерти. Два тела на полу — мужчина и женщина, высушенные, как осенние листья. Остекленевшие взгляды. Умиротворённые лица. Матушка тогда осмотрела их, поджала губы и велела забыть.

— Не наши, — повторил я её слова вслух.

— Именно, — Дима откинулся на сиденье и заложил руку за голову. — Не наши. А потом велела забыть. Я, знаешь ли, плохо забываю. Особенно когда кто-то делает нашу работу чище и быстрее. Это либо конкурент, — он сделал паузу, и в

ней повисло что-то невысказанное, — либо кто-то из своих.

Он смотрел на меня исподлобья, спокойно и тяжело, и под этим взглядом мне стало холодно — хотя холод для меня давно уже стал привычным состоянием.

— Ты думаешь о Гаврииле, — сказал я.

— А ты нет?

Я промолчал. Карета качнулась на ухабе, и шпоры Димы жалобно звякнули.

— В империи нет больше родов, подобных нам, — проговорил я, глядя в щель между шторками на проплывающие мимо дома. — А если бы столь грязные дела совершал кто-то из наших, матушка бы знала об этом. Мы связаны кровью, и без её ведома вздоха сделать не смеем.

Дима молчал несколько долгих ударов сердца. Карета покачивалась, где-то снаружи раздался крик ночного извозчика — «Пади!» — и снова тишина.

— Связаны кровью, — повторил он тихо, без обычной своей издёвки. — Да, матушка чувствует каждого из нас — как пальцы на одной руке. А мы чувствуем её.

Он тоже посмотрел в щель шторы, но не на улицу — на моё отражение. На мой профиль, освещённый луной, которая наконец показалась из-за туч. На мою сжатую челюсть. На глаза, которые смотрели куда угодно, только не на него.

— Но ты не ответил, Алексей, — голос Дмитрия стал вязким, почти ласковым. — Я спросил: согласен ли ты со мной? Или ты боишься назвать имя вслух? Боишься, что матушка

услышит не ушами, а вот здесь, — он коснулся пальцем собственного виска, — и тогда начнётся чистка?

Он открыл штору шире, и луна залила карету холодным, мертвенным светом. Дмитрий теперь был виден весь — бледный, с чёрными кругами под глазами, которых не скрыть никаким фраком. С резкими тенями на скулах. С неестественно неподвижными губами, на которых застыла полуулыбка.

— Гавриил, — произнёс он отдельно, почти по слогам. — Старший. Тот, кого матушка называет «моя первая ошибка». Он в Петербурге? Или мы опять будем верить, что он в Сибири, в своей добровольной ссылке, молится Богу, которого сто лет как проклял?

Дима не усмехался. Он смотрел — жёстко, выжидающе.

— Ну же, философ. Скажи мне, что я неправ. Скажи — и я поверю. Я всегда тебе верю, даже когда ты врёшь.

Карета замедлилась. Где-то впереди — застава, голоса, лязг оружия. Зимний дворец был близко.

Мой взгляд медленно, неохотно оторвался от луны, пробежал по чёрной ткани занавески, по бледной коже Дмитрия и остановился, встретившись с его взглядом. Я молчал. Гавриил — тот, кого матушка называла своим первым. Так давно, что никто не помнил даже примерных дат. Тот, чья связь с нами настолько истончилась, что мы чувствовали лишь блёклый след где-то на краю сознания, как туманное пятно, почти неощутимое. Я видел его лишь раз, и эта встреча оста-

лась во мне вкусом мостовой грязи, болью в рёбрах и ногтями, сломанными о его каменное лицо.

— Не скажу, что ты неправ, — произнёс я наконец, и голос мой прозвучал твёрже, чем мне хотелось бы. — Но и не могу не верить словам матушки: она говорит, что он в Сибири.

Дима медленно, очень медленно кивнул. Его лицо в лунном свете — маска без возраста: ни морщин, ни румянца. Только глаза живут, и в них сейчас что-то тяжёлое и вместе с тем почти нежное.

— Вот так, — сказал он тихо. — Честно. Ты не веришь, но хочешь верить. Это я понимаю. Это я уважаю.

Он откинулся на спинку сиденья, но взгляд не отвёл. Шпоры звякнули при движении — тонко, почти по-детски.

— Гавриил — произнёс он имя, пробуя его на вкус, словно старое вино, которое слишком долго пролежало в подвале. — Я видел его дважды. И второго раза хватило, чтобы понять: этот не умрёт никогда. Даже если матушка прикажет. Даже если мы все на него пойдём.

Он замолчал, и в тишине слышался только мерный стук копыт.

— Знаешь, что меня пугает? — спросил он вдруг почти шёпотом. — Не то, что он вернулся. Но, если это он я не знаю, смогу ли стрелять. Не потому, что боюсь. А потому, что он — первый. Словно в нём осталось что-то более древнее, чем в нас.

Он протянул руку и поправил мой галстук — бегло, привычно, будто делал это сотый раз. Пальцы его были холодными, но это был тот холод, который ощущается почти теплом. Я перехватил его запястье — не удержал, просто задержал на секунду. Дима вопросительно поднял бровь, но руку не отдернул. Так мы и сидели мгновение: его пальцы на моём галстуке, мои — на его запястье. Потом он хмыкнул и откинулся обратно.

— Но это мы узнаем потом. Сейчас — работа. Ты готов, братец? Потому что за этой дверью, — он кивнул в сторону выхода, — нас ждут не трупы. Нас ждёт начало. А конец, как водится, напишем сами.

Кучер слез с козел. Дверца кареты чуть приоткрылась, выпуская холодный воздух — с запахом Невы, дыма и сырого камня.

Мы вышли из кареты на просторную площадь перед Зимним. Ночной воздух здесь пах иначе — не хвоей и дымом, а рекой, мокрым камнем и казённым холодом императорской резиденции. Фасад дворца возвышался перед нами — тёмная громада, подсвеченная редкими огнями в окнах. Колонны, балюстрады, статуи на крыше — всё это казалось декорацией к спектаклю, который ещё не начался.

— Чёрный ход, — сказал я, оглядываясь.

— Разумно, — Дима поправил перчатки, окинув взглядом площадь с ленивой грацией хищника. — Парадные двери для живых, чёрные — для таких, как мы. Ирония, однако,

вполне в нашем стиле.

Он нагнал меня в два шага, и мы пошли к служебному входу — узкой двери, обитой кожей, с тяжёлым засовом. Часовой, завидев нас, вытянулся и отдал честь — видимо, его предупредили. Внутри стояла тяжёлая тишина, липкая, как воск, и тот особый, казённый холод, который пробирает до костей в пустых дворцах по ночам.

Нас встретил молодой офицер — бледный, с покрасневшими глазами, явно не спавший уже сутки. Мундир его был застёгнут на все пуговицы, но воротник чуть сбит на сторону — единственная деталь, выдававшая его состояние. Он козырнул, глядя куда-то в пространство между нами, словно боялся смотреть прямо.

— Ваши сиятельства, — голос его сорвался на первой фразе, но он быстро взял себя в руки. — Прошу следовать за мной. Тела не переносили. По приказу Его Императорского Величества.

— Значит, нам предоставили право первого осмотра, — вполголоса прокомментировал Дима, пристраиваясь рядом. — Какая честь.

— Или какая ловушка, — ответил я так же тихо.

Офицер развернулся и зашагал по коридору быстро, почти бегом. Мы двинулись следом. Дима наклонился к моему уху, дыша холодом:

— Мальчик боится не нас. Хороший знак. Или очень плохой.

— Посмотрим.

Коридоры здесь были уже, чем в парадной части, потолки ниже, но всё равно — всюду лепнина, позолота, портреты в тяжёлых рамах. Императорская роскошь просачивалась даже в служебные переходы, как вода просачивается сквозь почву. Мы свернули несколько раз — мимо пустых караульных, мимо дверей, за которыми слышался храп, мимо лестниц, уводящих куда-то в подвалы, — и наконец вышли в тупиковый коридор, обшитый тёмным дубом.

Перед дверью стояли двое часовых. Лица каменные, но один из них был неестественно бледен, а второй чуть заметно подрагивал, хотя в коридоре не было холодно. Офицер достал ключ дрожащими руками. Замок щёлкнул. Дверь отворилась. И воздух изменился.

Первое, что я почувствовал, — запах. Густой, сладковатый, с привкусом железа и чего-то ещё, чего-то неправильно-го. Это не был обычный запах смерти — я знал его слишком хорошо, чтобы ошибиться. Здесь было что-то другое, что-то, от чего мой внутренний зверь — тот самый древний вампирский инстинкт, который дремал в глубине сознания, — вдруг поднял голову и замер вслушиваясь.

Комната — бывшая караульная — освещалась двумя масляными лампами на стенах. Свет их трепетал на сквозняке, бросая пляшущие тени на стены. Обстановка скудная: стол у стены, два стула с протёртой обивкой, шкаф для оружия, теперь пустой. На полу, на старом ковре с вытертым до ос-

новы ворсом, лежали тела.

Три тела. Они лежали не в ряд. Их бросили. Хотя нет, не бросили — разместили так, словно художник расставлял натурщиков для страшного полотна, продумывая каждую линию, каждый изгиб тела. Это было первое, что цепляло взгляд — не хаотичное падение, не предсмертные судороги, а продуманная, почти балетная композиция. От этого становилось тревожнее, чем от самих тел.

— Господи Иисусе, — пробормотал за моей спиной Дима.
— Это не убийство. Это инсталляция.

Я ничего не ответил. Вместо этого подошёл к первому телу и опустился на корточки.

Первый — посыльный в синем мундире, лицом вниз. Руки его были вывернуты под неестественным углом, кисти — чёрные, сморщенные, будто пролежавшие месяц в болоте, хотя с момента смерти прошло всего две ночи. Я осторожно, взяв за плечи, перевернул его на спину — тело было лёгким, неестественно лёгким, как пустая оболочка. Лицо, обращённое к потолку, оказалось спокойным. Спокойнее, чем у спящего. Веки сомкнуты. Уголки губ чуть приподняты — он улыбался, когда умирал.

Я расстегнул воротник его мундира. Ткань отошла с сухим треском. На шее — россыпь укусов. Мелкие, частые, одинаковые. Я насчитал не меньше дюжины, от ключицы до уха. Кожа вокруг них была сухой, как пергамент, но не воспалённой — ни красноты, ни отёка.

— Один вампир, — сказал я. — Следы одинаковые. Расстояние между клыками — чуть меньше дюйма. И лёгкий изгиб влево. Это как почерк. У смерти вообще красивый почерк. Аккуратный. Разборчивый. Только адресата никогда не угадаешь.

— Почерк, — повторил Дима. Он обошёл комнату по периметру, заглядывая в углы, в пустой шкаф, в щели между панелями. — Значит, один каллиграф. И три добровольных читателя.

— Взгляни на ногти.

Дима приблизился ко второму телу — мальчишке, почти кадету, откинутаго навзничь. Глаза его были открыты и смотрели в потолок — но радужка выцвела до молочной белизны, будто кто-то выпил не только кровь, но и сам цвет. Я поднял его руку — лёгкую, почти невесомую. Под ногтями была грязь, но не та, что бывает, если человек ползёт или сопротивляется. Нет — ровные, параллельные бороздки на досках пола говорили о другом. Он царапал ритмично. Словно сопровождал музыку, которую никто, кроме него, не слышал.

— Они не боялись, — тихо произнёс Дима.

— Не просто не боялись. Они отдавали.

Я поднялся и подошёл к третьему телу — тому, что сидело у стены. Оно казалось куклой: голова запрокинута, рот открыт, на подбородке — засохшая полоска слюны. И на шее — следы. Не два прокола, как у нас обычно. Целая россыпь

— мелкие, частые, будто кто-то пил не спеша, смакуя, меняя место укуса снова и снова.

Я наклонился и расслабил воротник мундира. Здесь укусов было больше — россыпь покрывала шею от уха до самой ключицы, уходя под край ткани. Но все они были те же: аккуратные, чистые, одинаковые. Я провёл пальцами над ранами, не касаясь их, и уловил тот самый запах — металлический, пряный, древний. Зверь внутри меня снова шевельнулся.

— Странно, — сказал я.

— Что? — Дима тут же оказался рядом.

— Запах. Ты чувствуешь? Это не просто старая кровь. Это что-то другое. Я знаю этот запах, но не могу вспомнить, откуда.

Дима склонился ниже, почти касаясь носом шеи мертвеца. Его лицо осталось бесстрастным, но ноздри дрогнули.

— Пахнет как старые деньги, — сказал он. — Или как склеп, который не открывали лет сто. Но, согласен, — он выпрямился и посмотрел мне в глаза, — что-то в нём есть знакомое. Это не Гавриил. У Гавриила запах другой.

— Ты уверен?

— Я помню его запах, Алексей. Мокрый камень и прелые листья. А это — он помолчал, подбирая слово. — Это как ладан в заброшенной церкви. Древний. Очень древний.

Мы замолчали, глядя друг на друга. Я пытался ухватить ускользающее воспоминание — где я чувствовал этот запах раньше. Он был связан с чем-то важным, с чем-то, что я знал,

но не хотел знать. И он явно был ближе к нашему роду, чем к чужому.

— Ни крови, — сказал вдруг Дима севшим до хрипоты голосом. — Ни страха. Ни пота. Они умерли спокойно? Нет, не спокойно.

Он выпрямился, повернулся ко мне. В жёлтом свете ламп его лицо казалось восковой маской. После короткой паузы он продолжил:

— Они отдали. Понимаешь? Они сами отдали — с радостью, как на свидании.

— Да, — сказал я. — Я это уже понял.

— И тебе не страшно?

— Мне сто лет, Дима. Я забыл, что такое страх.

— Врёшь.

Я промолчал. Он был прав — я врал. Страх был. Но не тот животный ужас, который испытывают смертные перед смертью. А другой — глубинный, древний. Тот самый, который просыпается, когда ты чуешь рядом другого хищника. Более сильного. Или более старого.

— Алексей, — Дима вдруг взял меня за руку, холодными пальцами сжал запястье, — кто бы это ни был, он не просто пил. Он брал что-то ещё. Душу? Волю? Не знаю. Но это не наш метод. Это даже не метод Гавриила. Это

Он замолчал. Где-то далеко, в глубине дворца, пробили часы — три удара. И в этой тишине, подведённой под бой часов, я услышал то, чего не слышал раньше: шаги. Мно-

жественные, тяжёлые, с металлическим лязгом. Гвардейцы. Или кто-то похуже.

Дверь за спиной Димы приоткрылась. Офицер, что привёл нас, просунул голову в щель:

— Ваши сиятельства Его Императорское Величество ожидает. Но

— Но? — Дима резко обернулся, и офицер вздрогнул.

— Он не один. С ним граф Милорадович.

Повисла пауза. Густая, вязкая, как предгрозовой воздух. Я смотрел на Диму, Дима смотрел на меня. Граф Михаил Андреевич Милорадович. Герой Очакова. Любимец гвардии. Человек, которого хоронили с воинскими почестями три дня назад.

— Милорадович, — повторил Дима одними губами. — Которого похоронили в субботу.

Он улыбнулся — но улыбка эта была не весёлой. Она была опасной. Той самой, которую я видел перед самыми скверными его выходками.

— Какая прелесть. Мы ещё даже не начали, а у нас уже конкуренция. Ну, философ, давай посмотрим, что за театр нам приготовили на этот раз.

Он поправил галстук, одёрнул манжеты и направился к двери. На ходу прокрутил пустую трубку в пальцах, потом ловко, одним движением, сунул её в карман — жест, отточенный до автоматизма.

— Значит, будем танцевать, господа. Вальс с покойником

— это, доложу я вам, *quelque chose de nouveau*. Что-то новенькое.

— Стой.

Дима замер на полушаге. Медленно обернулся.

Я стянул перчатки — медленно, палец за пальцем, — и положил их на край стола. Запах древней крови всё ещё стоял в воздухе, пряный и неуловимый, как старая мелодия, которую никак не можешь назвать.

— Ты останешься здесь, — сказал я.

— Что?

— За дверью. Жди снаружи и не вмешивайся, что бы ты ни услышал.

Лицо Димы дрогнуло. Маска веселья треснула на мгновение, и под ней мелькнуло что-то острое, почти злое.

— Ты хочешь, чтобы я стоял под дверью как лакей? Пока ты будешь беседовать с императором и ходячим покойником?

— Именно.

— Алексей

— Дима, — я посмотрел ему в глаза — прямо, спокойно, без вызова. — Если там ловушка, я хочу, чтобы ты был снаружи. Если меня попытаются задержать, ты услышишь. Твои уши острее, чем у любого гвардейца в этом дворце. И твоя реакция быстрее. Мне нужно, чтобы ты был снаружи и мог действовать, а не сидел под прицелом вместе со мной.

Он замолчал. Посмотрел на меня долгим, пристальным

взглядом, в котором смешались досада, уважение и что-то ещё, что он не хотел показывать.

— Ты рассуждаешь как стратег, — сказал он наконец. — Это раздражает.

— Я рассуждаю как твой брат.

— Ах, — он театрально вздохнул, но глаза остались серьёзными, — вот, значит, как. Бьёшь по самому больному. Низкий приём, mon cher.

Он отступил на шаг, скрестил руки на груди и привалился плечом к дверному косяку. Вынул из кармана пустую трубку, сунул в зубы и кивнул на дверь.

— Хорошо. Иди. Но если через десять минут ты не выйдешь, я эту дверь вынесу. Вместе с петлями.

— Десять минут, — согласился я. — Засекай.

— Уже засёк.

Он вдруг шагнул ко мне — стремительно, по-гусарски — и на мгновение прижался лбом к моему лбу. Жест быстрый, почти неуловимый. От него пахло кожей и табаком, которого он никогда не курил. Дима отстранился, хлопнул меня по плечу — всё с той же гусарской небрежностью, но я заметил, как дрогнули его пальцы.

— Иди уже, философ. А то я начну думать, что ты специально тянешь время, чтобы побыть со мной подольше.

— Может, и так.

Он улыбнулся — на этот раз без привычной насмешки:

— Тогда возвращайся быстрее. У нас впереди ещё много

поводов побыть вместе.

Я молча кивнул и вышел в коридор. Часовые проводили меня настороженными взглядами. Офицер, всё ещё бледный, засеменял впереди, уводя меня прочь от караульной. За моей спиной раздался тихий, мелодичный звон шпор — Дима оттолкнулся от косяка и занял позицию у двери.

Я не обернулся. Знал, что он стоит там — прямой, неподвижный, с пустой трубкой в зубах и холодным огнём в глазах.

Офицер вёл меня через анфиладу парадных коридоров — теперь уже с высокими потолками, золочёной лепниной и портретами императоров в тяжёлых рамах. Екатерина смотрела на меня с холста надменно и чуть насмешливо. Павел — подозрительно и мрачно. Александр, ныне покойный, был изображён в профиль, и его бледное лицо казалось в полумраке лицом призрака.

Я шёл один, без Дмитрия. И в этой давящей тишине каждый мой шаг отдавался в висках.

Наконец офицер остановился перед высокой дверью с золочёными ручками, обитой зелёным сукном. Часовые по бокам вытянулись, глядя прямо перед собой.

— Его Императорское Величество ожидает вас, — произнёс он и отступил в сторону.

Я взялся за ручку — холодную и гладкую. За моей спиной, на другом конце коридора, остался Дима. Я представил его — привалившимся к косяку, с трубкой в зубах, отсчитыва-

ющим в уме минуты. И от этой картины стало спокойнее.

Я толкнул дверь.

Гостиная была небольшая, зелёная, с камином, который горел ярко, но почти не давал тепла. На каминной полке — часы в бронзовом корпусе, показывающие половину четвёртого утра. У стола в креслах сидели двое.

Первый — император Николай Павлович. Молодой, бледный, с синевой под глазами, которая говорила о бессонной ночи так же красноречиво, как смятый сюртук и недопитый стакан чая. Он поднялся при моём появлении — резко, нервно — и прошёлся взглядом по мне, потом почему-то за мою спину, в пустоту коридора.

Второй сидел у камина, положив ногу на ногу, и курил длинную трубку. Мундир, расшитый золотом, ордена на груди. Кудрявые волосы, орлиный нос, тот самый профиль, который я видел на гравюрах сотни раз. И глаза — стеклянные, без зрачков, в которых не отражался огонь камина. Граф Михаил Андреевич Милорадович — собственной персоной.

Он повернул голову к двери — медленно, с сухим хрустом шейных позвонков, какой бывает у старых кукол. И улыбнулся — уголок рта поднялся слишком высоко, неестественно, как у марионетки, которую дёргают за нитку.

— Князь Алексей Сергеевич, — пропел он, и голос его — звонкий, командный, но с механическим присвистом — резанул по нервам. — А где же ваш вечно весёлый братец, Дмитрий Николаевич? Я слышал его шпоры. Он что же, бо-

ится войти?

Я остановился посреди комнаты. Расправил плечи. Посмотрел сначала на Милорадовича, потом — на императора.

— Мой брат остался за дверью, — сказал я ровно. — По моему приказу. И он войдёт сюда только в том случае, если я сочту это необходимым.

Николай Павлович приподнял бровь. Милорадович перестал улыбаться.

— Вы дерзки, князь, — произнёс император, но в голосе его промелькнуло что-то похожее на уважение. — Впрочем, я этого ожидал. Садитесь.

Я не сел. Остался стоять, глядя на Милорадовича в упор. Его стеклянные глаза буравили меня в ответ, и в них медленно разгоралось что-то живое, хищное.

— Что ж, — произнёс я, и мой голос прозвучал ровно, даже скучающе, хотя внутри всё звенело от напряжения. — Приятно познакомиться, труп.

В камине провалилось полено. Искры взметнулись к потолку.

Глава 3 Граф и Глина

Полено в камине провалилось с тихим шипением, словно кто-то выдохнул сквозь зубы. Искры взметнулись и погасли, а граф Милорадович всё смотрел на меня, не моргая. Улыбка его сползла не сразу — она таяла, как воск, стекающий с оплывающей свечи, обнажая под собой что-то жёсткое, неприятное. Что-то, что пряталось за маской светского трупа.

— Дерзкий мальчишка, — произнёс он наконец, и голос его утратил прежнюю звонкость, стал глуше, с присвистом, будто воздух проходил через щель в старых мехах. — Помню-помню вас, князь. Ещё при Павле вас не было. А я уже брал Очаков. Я уже стоял под пулями, когда вы...

— Лежали в гробу? — подсказал я. — Да, мне говорили. Три дня назад. Как вам там, кстати, понравилось?

Милорадович подался вперёд. Движение это было странным, кукольным — будто невидимая рука дёрнула его за шиворот. Пальцы, сжимавшие трубку, хрустнули. Я заметил, что суставы у него посинели, как у мертвеца, пролежавшего ночь на морозе. Впрочем, почему «как»?

— Щенок, — прошипел он. — Ты не имеешь права...

— Имею, — я не повысил голоса, смотрел ему в глаза — в эти стеклянные, без зрачков, глаза, в которых не отражался огонь камина, но отражалось что-то другое. Страх? Нет.

Скорее, голод.

— Вы явились в императорский дворец после собственных похорон, граф. Вы обвиняете мой род в убийствах, которых мы не совершали. И вы смеете говорить о правах?

— Господа! — голос императора хлестнул, как удар плети.

Я обернулся. Николай Павлович стоял у стола, выпрямившись, и лицо его было белым, как накрахмаленный воротник. Желваки на скулах ходили ходуном. Он переводил взгляд с меня на Милорадовича и обратно, и в этом взгляде плескалось что-то, чего я не ожидал увидеть у монарха: растерянность.

— Я позвал вас, — произнёс он, чеканя каждое слово, — чтобы вы нашли убийцу. Не для того, чтобы вы грызлись между собой, как дворовые псы. Князь Волконский, — он шагнул ко мне, — вы утверждаете, что ваш род не причастен. Граф утверждает обратное. У меня три трупа в караульной и ни одной зацепки. Я желаю знать правду. И я желаю знать её сейчас.

— Правду? — переспросил я. — Извольте.

Я повернулся к Милорадовичу, который застыл в кресле, как изваяние. Его трубка погасла, но он всё ещё держал её в зубах. Дым из потухшего чубука тонкой струйкой выползал на подбородок.

— Граф, — сказал я, — вы предлагаете императору свои услуги. Вы обвиняете мой род. Очень хорошо. Тогда ответь-

те мне на один вопрос: кто вас обратил?

В комнате повисла тишина. Такая плотная, что я слышал, как потрескивает воск в масляной лампе на каминной полке.

Милорадович не двигался. Его лицо — серое, с чёрными прожилками под глазами — напоминало старую фреску, с которой осыпается штукатурка.

— Я не обязан отвечать, — выдавил он наконец.

Я уверенно шагнул к нему.

— Обязаны. Вы находитесь в императорском дворце. И обвиняете род Волконских в преступлении. Вы — ходячий мертвец, который встал из могилы три дня назад. У вас нет прав. У вас есть только обязанность отвечать на мои вопросы.

Я наклонился ближе, так, чтобы видеть каждую трещинку на его коже, синяки на шее — чёрные, с металлическим отливом, неестественные, как рисунок серебряной краской.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.